

Слово
Вера
Любовь

Вера Федоровна Панова

Конспект романа

1

Роман начинается, по славной традиции, с детства героев.

Два мальчика живут в большом сером доме: Костя Прокопенко и Женя Логинов.

Дом старый, в каждой квартире много жильцов. У семьи Логиновых отдельная квартира. Женин пapa научный работник, Женина мама научный работник, Женин дедушка профессор, прадедушка академик.

Дедушка-профессор живет тут же с ними, а прадедушка-академик в Москве. Они к нему ездят всей семьей на майские и октябрьские праздники. Женя ездит к нему на зимние каникулы. Опять же всей семьей ездят летом к прадедушке на дачу на какую-то Николину Гору.

От частых исчезновений, оттого, что несколько раз в году по лестнице сносят чемоданы, и хлопают дверцы такси, и Женя укатывает прочь, а по прошествии времени возвращается, и снова хлопают дверцы такси, и чемоданы вносят обратно, — от всего этого Женя кажется другим мальчикам немного таинственным, как бы помеченым особой меткой.

Возможно, это бы их сердило, будь он воображала и жадина. Но в нем ни капли ни того ни другого. Кто хочешь приходи к нему вечером, играй в его шахматы, смотри в его микроскоп, разваливайся на диване, бери с полки книжку почитать. Если засидятся, Женина мать или домработница приносят им чай с ванильными сухарями.

У Жени своя комната, так что никому они не мешают. Одно условие: в коридоре говорить шепотом и ногами не стучать, потому что дедушка-профессор работает в своем кабинете.

Даже непонятно, когда Женя умудряется делать уроки, которые задают в школе. У него, помимо школы, еще музыка, английский, коньки, баскетбол. И ребята по вечерам. Но он очень способный: вроде бы и уроков не делал, а отвечает лучше всех. Редко когда схватит двойку или тройку.

Женина мать говорила кому-то, что дело тут не только в способностях, но и в общем развитии. Если бы все, она сказала, давали своим детям такое развитие, то другая была бы картина общества.

Женя очень воспитанный. Как он вежливо здоровается — причем одинаково со всеми, с учителями и с дворниками. Что ни скажет, что ни сделает, все как-то ладно, умно, кстати. Ни Костя Прокопенко, ни другие мальчики так не умеют.

Женя красивый: высокий, светловолосый, с задумчиво-приветливым выражением светлого лица.

Ни Костя Прокопенко, ни другие мальчики красотой не блещут, вообще ничего в них нет особенного. Но им нравится, что Женя такой, как он есть. Они гордятся своим прекрасным товарищем. 2

У Кости Прокопенко отец убит в войну, дедушка умер в блокаду, а о прадедушке своем Костя никогда ничего не слыхал и никогда не думал.

Только мать у него, она работает вагоновожатой на трамвае.

Комната у них одна, и мать не любит, когда к Косте заходят ребята.

— Я вымою, — говорит, — а они придут и натопчут. Нечего им тут. На дворе играйте.

Постучится кто из ребят, Костя выходит к нему и спрашивает:

— Ну? Тебе что?

И решает дело здесь же в коридоре, а если предлагается что-либо интересное, надевает пальто, берет шапку и отправляется во двор, на улицу или к Жене Логинову.

Но кое-что Костины мать от Логиновых переняла. Костя побывал у Жени на дне рождения. Она сказала:

— А давай и твой справим. Ничем мы их не хуже.

Купила колбасы, конфет и много бутылок лимонада, испекла пироги и велела Косте позвать товарищей. Набилась их полнехонькая комната. В том числе пришел Женя в свитере и белом воротничке, вежливый, задумчивый. Мать стояла в дверях и смотрела, довольная, как они едят пироги и пьют лимонад.

Она и елку хотела сделать, но передумала.

— В школе будет, — сказала, — в Доме культуры будет, и ладно.

О Жене она говорит:

— До чего симпатичный, ну до чего приятный, так бы им и любовалась.

Еще бы. Все им любуются.

Может, и с елкой потому не стала затеваться, что узнала от Кости, что Женя под Новый год уедет в Москву.

А вообще-то мать и сын Прокопенко живут тихо.

Ничего у них не бывает сверх того, что дано большинству людей.

Если мать занята в первой смене, то на работу она идет пешком, хотя трампarks довольно-таки далеко. Хорошо летом: у нас в Ленинграде в пятом часу утра уже вовсю светит солнце. А зимой это темная ночь, до рассвета много часов. А как дождь проливной? Но не на чем матери подъехать на работу, ведь трамваи только тогда пойдут, когда она и другие вагоновожатые выведут их из парка.

Костя встает запереть за ней дверь на крюк. Другие жильцы в квартире обижаются, если такую рань дверь не заперта на крюк.

Потом он опять ложится и досыпает. Сон у него здоровый.

Аппетит тоже. Вообще он парнишка крепкий, ничего. Семь лет ему было, он дрова колол. Мать придет — он уже дров наколол и возле буржуйки сложил, чтобы она затопила сразу. То было после войны. Теперь-то у них центральное отопление исправили, не приходится ни колоть дрова, ни, главное, покупать их, и буржуйку выбросили.

То, что Жене Логинову дается играючи, Костя Прокопенко берет трудом. Подолгу делает он уроки, постелив на столе газету, чтобы не запачкать клеенку чернилами. Мать говорит:

— Кто его знает, сколько здоровье мне позволит тебя тянуть. Поучись как следует, пока есть

возможность.

Но Костя не потому старается, что мать велит, а из самолюбия. Чем он, в самом деле, хуже тех, кто учится хорошо? На пятерки у него не получается, сколько он ни сиди; ну, четверки тоже хорошо!

Вот только роста он небольшого, к своему огорчению, — уж так бы ему хотелось быть высоким, как Женя Логинов! Мать считает — это потому, что в войну, в эвакуации, питание было плохое, он и не рос как следует, может, еще подрастет. 3

Этажом ниже Логиновых живет девчонка Майка.

Она совсем маленькая. Ее водят гулять, закутав поверх шубы и шапки в платок, так что видны только два карих серьезных глаза и маленький нос с двумя круглыми дырочками, как у пуговицы.

Маленькая, но страшно вредная. Например. Как-то она стояла, закутанная, на лестничной площадке, а ребята ватагой спускались от Жени и кто-то, проходя, ее задел нечаянно. Чуть-чуть задел, но она сейчас же упала и лежала молча и неподвижно, глядя в сторону серьезными глазами.

Костяшел сзади всех и видел эту сцену. Он поднял вредную девчонку и поставил на ноги.

— Стой прямо! — сказал он. — А то как дам!

Но она опять легла и сопела своей пуговицей с двумя дырочками.

— Ну лежи, если нравится, — сказал Костя и пошел вниз.

Хлопнула дверь — на площадку вышла Майкина бабушка. И сейчас же раздался рев и сквозь рев неразборчивые слова — девчонка жаловалась.

— Вот сволочь! — сказали ребята, удивившись. — Ведь не больно ей ни капельки, гадюке. Надавать бы действительно, будь постарше.

Бабушка нагнулась над пролетом и закричала:

— Хулиганье паршивое, на секунду нельзя оставить ребенка, надо лестницу от вас запирать, от поганцев!

Другой раз — это было в конце учебного года, в ветреный и солнечный майский день — ребята сидели в скверике на скамейке, возле загородки с песком, и разговаривали о своих делах. В загородку пришла Майка и стала играть песком. Она наклонялась и набирала его полный совок, а потом направляла совок так, что ветер нес песок в лицо ребятам, сидевшим на скамейке.

— Слушай, катись отсюда, — сказали они ей миролюбиво.

Она словно не слышала. Зато сейчас же звонко закричала бабушка с ближней скамьи:

— Вот новости, что вздумали — ребенка гнать, сами катитесь, позапирать бы от вас скверики, от хулиганов!

Кроме бабушки, у Майки есть отец.

После войны у него остались на лице большие шрамы. Кто говорит — это шрамы от осколков, а кто — что он в танке горел и это от ожогов такие следы. Когда он возвращается с работы и подходит к дому со своим портфелем, Майка, если она в это время гуляет, бежит ему

навстречу. Он наклоняется к ней, а она протягивает руки вверх и спрашивает:

— Что ты мне принес? 4

Все трое они растут в ленинградском сером доме и понемножку вырастают.

Шестнадцати лет Костя Прокопенко пошел работать. Он поступил в таксомоторный парк мыть машины.

Работа нетрудная, и ему нравилось находиться среди машин. Но от Жени Логинова и школьных товарищих он отдалился. Ему стали казаться несущественными, детскими их разговоры и вся их жизнь. Всеобщее увлечение то фотографией, то марками, и даже микроскоп, в который рассматривали мушиное крыло и собственный волос, — это были умные, бесспорно развивающие, но все-таки игрушки.

В гараже люди были взрослые, с взрослыми тревогами, озабоченные и раздражительные.

Сегодня прорабатывали кого-то за аморальное поведение. Завтра собирали деньги семье товарища, погибшего при аварии. Послезавтра провожали на пенсию старого руководителя. Он сидел грустный, не хотел уходить на пенсию, а провожающие говорили положенные прощальные слова, а между собой рассуждали — новый помоложе и более деловой, может быть, порядка будет больше.

Костя старательно делал свое дело мойщика, присматривался к машинам и все реже вспоминал о том, чем жил когда-то.

Не то чтобы он совсем откололся от прежних ребят: по вечерам они частенько вместе стояли у ворот, или лениво брели в кино, или сидели, покуривая, в скверике на скамейке, но это уже не была та общность, когда горели одним и тем же интересом и куда ты с ним, туда и я. И главным образом Костя сидел на скамейке и стоял у ворот с теми парнями из серого дома, кто, подобно ему, пошел работать, не окончив школу. Что-то спаивало их вместе, а от школьников удаляло.

А к Жене Логинову Костя совсем перестал ходить. Не тянуло. Думалось ну чего я там с детишками...

Когда он достиг подходящего возраста, его направили в шоферскую школу без отрыва от производства. И вот какой был случай. Он шел с первого занятия, довольный, и думал, что через полгода будет водить машину по этим улицам, и у дома повстречался с Женей.

— Здоров! — сказал Костя оживленно-приподнято, его все приподымало и радовало в тот день.

— А, Костя, здравствуй! — сказал Женя с обычной своей приветливостью.

Они не видались уже давненько.

— Как живешь? — спросил Костя.

— Да что, неприятности у меня, — ответил Женя с улыбкой. — Ты, может, слышал.

— Ничего не слышал, что такое?

— Обманул надежды предков. Медаль рухнула.

— Что ты! А я всегда был уверен, что кто-то, а ты кончишь с блеском. Может, еще вытянешь?

— Да нет, уже ясно в общем. Уже не успею вытянуть.

— А в сущности, что за важность, — сказал Костя, — ну без медали, и что?

— Да боже мой! — сказал Женя. — На что она мне? — Он недоуменно повел плечом. — Но предки, понимаешь, прямо с ума посходили. Форменный ад в доме, выдерживаю истерику за истерикой. Что у тебя?

— Да помаленьку. Вот в школу шоферов поступил.

— Вот как, — приветливо сказал Женя. — Очень рад за тебя. Ты ведь этого хотел?

— Хотел.

— Хотел и сделал, молодец. Ну, будь здоров, побежал я.

— Пока.

— Заходи.

— Спасибо.

И весь случай. Но после него окончательно отпала у Кости охота общаться с Женей Логиновым.

Что я тебе, Женя?

Такой ты вежливый, никому никогда резкого слова не скажешь.

А вот тут, смотри-ка, не хватило вежливости — хоть для вида немножко поинтересоваться моими делами.

Хоть бы спросил — с отрывом от производства или без отрыва. Это ведь разница, и нешуточная.

Ладно. Чего там. Каждому свое. У тебя одна дорога, у меня другая.

Все правильно. 5

Пришло время, когда он стал думать о женщинах больше чем надо, и они ему снились.

Он ни с кем не делился этими думами и снами, а себе самому говорил: что за чепуха мне приснилась, тьфу! — но в глубине души знал, что снилось ему нечто прекрасное, от чего потом весь день томится и радуется сердце.

Шли по улице, обнявшись, девчонки в летних платьях, в босоножках. Он шел за ними, смотрел на их шеи, локти и не мог оторваться — спохватывался и говорил себе: вот уж нашел на что рот разевать: у той, крайней, не волосы, а мочалка какая-то, а локти — подумаешь, не видал я локтей, а как безобразно торчат их голые пятки из босоножек!

Но и это ему не помогало.

В гараже была одна женщина, уборщица. По мнению Кости — уже старая: немногим, должно быть, моложе его матери. Поэтому его удивляло, что она со всеми шутит как молоденькая. Мать никогда не шутила, всегда держалась солидно и рассудительно.

И вдруг эта женщина, эта старая уборщица, стала часто подходить к Косте и шутить с ним. И шутки ее были таковы, как будто она его считала взрослым и хотела, чтоб он ею

заинтересовался. А он даже не знал, что ей отвечать, только супил брови, опускал глаза и уходил подальше.

— А посмотри-ка, — сказала она однажды, — у меня рука как у мужчины сильная, верно?

И, засучив рукав почти до плеча, показала ему свою руку, совсем не старую, а, наоборот, белую и круглую, женскую, мягкую даже на взгляд. И держала эту руку у него перед глазами, пока он не ушел.

— Ой, — сказала в другой раз, — не смотри на меня, Костичка, я тут возле тебя присяду переобуюсь. Чего-то я, кажется, ногу натерла.

Наверно, и ноги у нее были белые и не старые, если она возле него села переобуваться. Но он и на этот раз ушел, насупив брови.

Тогда она решила идти напрямик и в день получки позвала его в гости.

— Приходи, весело будет, не пожалеешь. — И сказала адрес. — Дай-ка запишу, на случай забудешь. Дай-ка спрячу, чтоб не потерял. — И руками, темными и грубыми в кистях, но выше — он знал уже какими, вложила бумажку в нагрудный карман его куртки. — Водку приносить не вздумай: мой пускай расход. Будет водка, все будет. — И подмигнула бедовым глазом.

Чудачка, ей-богу, думал Костя, неужели она воображает, что я к ней пойду, с водкой или без водки? Вечером, часу уже в одиннадцатом, он вышел из дома: просто пройтись. Улицы полны были нежного сияния — в эти месяцы солнце почти не заходит — и так стройны, так чинно и торжественно прекрасны, что даже у привычного человека становится на душе торжественно и гордо, и как-то он внутренне весь распрымляется.

Он вышел на набережную Мойки. Вода струилась в гранитных берегах, розовая от вечерней зари. Сколько-то он шел вдоль ее лучезарной излучины, потом свернул, вступил в серые, затененные домами переулки, — он не думал, куда идет, но шел все дальше, вошел в ворота, там был двор, а за первым двором второй двор, а за вторым третий, заставленный поленницами дров, и в нем дверь, выкрашенная коричневой краской.

Она находилась в глубине двора, слева, где две стены, сходясь неправильно, образовали острый косой угол. К ней вели три крутые ступени, облицованные цементом. Цемент обился во многих местах, видна была кирпичная кладка. Краска на двери тоже облупилась уродливо. И крыльце и дверь выглядели потайно, недобро, словно для худого дела они запрятались в темный невидимый угол. Впрочем, во всем дворе было темновато и глохно, только вверху далеко нежно светлело небо.

Дверь приоткрыта была, за ней черно. Черная щель.

Над дверью дощечка с номерами квартир. Повыше, выходя из стены, пролегал черный кабель электропроводки. Неподалеку спускалась с крыши суставчатая водосточная труба, и от кабеля к трубе, наискосок, вилась по дому трещина, неряшливо замазанная темно-серым. Вот до каких подробностей запомнилась эта дверь Косте.

Он стоял, смотрел на черную щель, а черная щель на него.

Может, подмигни ему оттуда из черноты знакомый бедовый глаз, он бы взошел по этим ступеням. Кто его знает.

Но проглядела его женщина, не подмигнула, не взошел он по ступеням повернулся и пошел обратно между поленницами.

Что его прогнало? Ведь такие сны ему снились.

Стыд прогнал. За себя, за нее, за все, что готово было свершиться. За водку, которую она ему припасла. За то, что вышел пройтись, а сам притащился сюда.

«Дай-ка запишу, на случай забудешь». А он не забыл. Не заглядывал в бумажку.

Но — не преодолел стыда. Хотел преодолеть — не осилил.

Между поленницами, сквозь дворы, освещенные отсветом далекого неба.

Сквозь серые переулки, к сиянию воды и зари.

Дошел до Мойки и закурил облегченно. Нет. Нельзя. Никак. Человек я. 6

Он окончил школу шоферов и стал водить машину по ленинградским улицам и за город. Ему нравилась эта работа. Она требовала внимания и ловкости, и он с удовольствием щеголял своей ловкостью, так что слабонервные пассажиры пугались.

Такси в Ленинграде стало порядочно, план давали большой, и выполнялся он когда как: в праздники и в плохую погоду перевыполнялся, а иной раз совсем плохие бывали дни. Люди в гараже тоже были всякие, не со всеми отношения складывались так гладко, как в ученические его времена, когда все были главней его и мало его замечали. В общем, разные новые заботы обступили Костю, и женщины стали занимать гораздо меньше места в его мыслях.

Он было влюбился, правда, в одну девчонку из их дома, она его поразила своим стиляжным видом. Всегда все первая надевала, как бы открывая новую моду, и новые прически первая начинала носить — то раскидывала волосы по плечам, как в итальянских фильмах, то стала их завязывать на макушке в виде лошадиного хвоста.

Она жила по той же лестнице, что Костя, он часто ее встречал и решил, что влюблен. Но влюбленность была в самом зародыше, и развиться ей не было суждено, его призвали в армию.

Три года прослужил. Не служба была, а удовольствие — благодаря его специальности. Возил больших начальников, под их благосклонным покровительством, на военной машине, достиг вершин квалификации, стал, можно сказать, виртуозом. Они его любили за лихость и за поведение, дисциплинированное и скромное, — входил в раж только на дороге, за баранкой.

Его отличали и относились к нему отечески. Восьмого марта из части пришло его матери поздравление и благодарность, что она так хорошо воспитала своего сына. И даже после этого другая мать прислала ей письмо, прося поделиться опытом, как это она воспитала сына так прекрасно. Костина мать удивилась и стала думать, как же она его воспитывала, когда и видела-то его мало, находясь на работе. И написала другой матери, что ничего такого особенного не делала, просто жили они с сыном дружно, что бы с ними ни было, доброе или худое, вместе переживали, вот и все, — должно быть, Костя уж сам по себе, от рождения такой хороший.

На втором году службы она его известила, что у нее нашли болезнь сердца, она ложится в больницу. Костю отпустили проводить мать.

Он приехал в Ленинград и, едва свернув на свою улицу, увидел, что у их дома стоит автобус и рядом кучка народа.

Никогда по их улице не ходил автобус.

А, да это газовский автобус, принадлежащий какому-нибудь учреждению. Не из тех, что ходят по городу и возят пассажиров.

Из дома вынесли венок и внесли в автобус, в заднюю дверку.

Костя побежал.

В жизни он еще такого не испытывал, как в эти полминуты, что бежал к своему дому, топая солдатскими сапогами, бежал и на гладком асфальте споткнулся.

Из открытого настежь парадного показался гроб, который выносили, неуклюже топчась, несколько человек. Костя остановился.

Они с матерью не в этом подъезде жили; не с улицы — со двора.

Из соседей кого-то хоронят.

Ну, балда: венок-то ведь тоже из парадного вынесли, не из ворот.

Не сообразил с перепугу.

Фу ты, господи.

Кто ж это? Уж не Женин ли дедушка-профессор?

Но из Логиновых никого не было среди стоявших на улице.

— Кого это? — спросил Костя у незнакомой девицы с лохматой челкой.

— Здравствуйте, Костя, — сказала она, повернувшись к нему.

Неудивительно, что он не узнал ее сразу. Туго повязанный розовый платок закрывал ей щеки, а челка спускалась ниже бровей, и в маленьком треугольнике видны были только заляпанные черным ресницы, нос рулём и рот. Это была та, что открывала новые моды и в которую он почти влюбился перед призывом в армию.

— Майкин отец умер, — сказала она.

— С приездом, Костя, — сказала, подойдя, дворничиха. — Мать телеграмму получила и ключ тебе оставила. А ждать нельзя ей было, место бы заняли в больнице.

Гроб вносили в автобус. Из дома выходили провожающие. Кто-то стал закрывать парадное, стучавшее молотком.

— Вот, — сказала дворничиха, — в танке горел — не сгорел, а от кровяного давления, надо же...

Костя увидел Майку. Она стояла возле своей бабушки. Бабушку, плачущую, держали под руки две женщины, а Майка стояла одна, без пальто, в школьном платье с помятым вышитым воротничком, даже передник она забыла надеть. Странно белое было лицо у нее, под глазами синие тени.

— Маечка, Маечка! — в слезах заголосила бабушка. — Маечка, а ты что ж неодетая, одеться надо, Маечка...

На Майку надели пальто. Она послушно и торопливо всовывала руки в рукава, а карие ее глаза смотрели темно и испуганно.

Большая какая выросла, подумал Костя, лет тринадцать ей, должно быть, от силы четырнадцать, а выше меня.

Он вспомнил, как бежал только что, без памяти бежал удостовериться, что это не мать его хоронят, — и от души подумал про Майку: бедная. 7

Он пробыл в Ленинграде три дня и два раза проводывал мать в больнице: один раз в общий впускной день, другой — приняв во внимание его обстоятельства, ему дали особое разрешение.

Доктор сказал, что большой опасности нет, только работу ей надо будет полегче.

Мать написала в часть благодарность, что отпустили к ней сына. А из части в ответ написали, что желают ей скорой поправки и доброго здоровья впредь. Словом, целая переписка завязалась между матерью и воинской частью. Это было — все чувствовали — как-то хорошо, это был достойный, благообразный росток нового, и все были довольны этим благообразием, и мать, и Костя, и воинская часть, и уважали друг друга.

Конечно, стоило бы рассказать подробней: вот она лежит на больничной койке и ждет его, и он входит в белом халате поверх гимнастерки, стесняясь стука своих сапог. Приносит ей гостинцы, и она рада — гостинцам и особенно его заботе и что с других коек смотрят глаза и эту заботу видят.

Это ее вознаграждает за многое горе, испытанное в жизни.

Все бы надо было описать более основательно — и первый Костин выезд на работу, и службу в армии, и как новые люди и явления входили в его кругозор, и как он чему-то научился от каждого нового человека.

Но ведь это не роман, а конспект романа. Я и то на каждом шагу поступаюсь конспективностью, то приводя пустяковый разговор, то описывая какую-то некрасивую дверь в третьем дворе.

Во всяком случае, необходимо обрисовать Костину наружность. Обрисовала вроде бы и Женю Логинова, и Майку, и Майкиного отца, который умер, и даже модную девушку, у которой в этой истории совершенно ничтожное место, — а главное действующее лицо без наружности. Так не годится.

Я потому с этим делом медлила, что Костю обрисовать очень трудно. Ну, роста небольшого, это уже сказано. Ну, лицо, глаза, рот, нос — тоже небольшие. Волосы темно-русые, не выются никаких. И хотя он здоровый и ловкий, но нет косой сажени в плечах. Встретив его, не запомнишь, как не запомнишь контролера в трамвае и продавщицу у уличного лотка, где купил пачку сигарет.

Хоть бы усыки, что ли, отрастил для выразительности. Но он и усиков не отращивает, бреется. Бреется безопасной бритвой, а хотел бы иметь электрическую.

Также хотел бы иметь телевизор, чтоб неходить к соседям смотреть футбол. У соседей вечно прорва болельщиков собирается, старики займут места перед экраном, а ты сбоку на отшибе сидишь и видишь все криво-косо.

Та, что открывает моды, тоже приходит к соседям смотреть футбол и садится на отшибе, где Костя. Она теперь носит прическу в виде высокой башни. Но Костя больше не думает, что влюблен в нее, ему неприятен ее нос рулем и заляпанные ресницы, и неловко, что она сидит рядом.

Это, вы поняли, происходит уже после того, как Костя вернулся из армии.

Он отслужил без сучка без задоринки и вернулся на прежнюю работу: возит людей в такси. В промежутках он стоит на стоянках. Мимо стоянки проходят красивые девушки. Костя смотрит

на них. Редко они к нему садятся, а если садятся, то с кем-нибудь, потому что своих денег у красивых девушек, как правило, не бывает. С кем-нибудь они садятся на заднее сиденье и любезничают, даже сплошь и рядом целуются, а на шофера, само собой, ноль внимания, шофер для них — часть машины, которая их везет, сам по себе он не существует в природе.

8

Но вот идет Таиса. Бесстрашно и трезво глядя на мир, идет Таиса. Ни улыбок, ни хихиканья, ни верченья. Не вертесь приехала. Из Будогощи приехала в богатый, многообещающий город Ленинград жизнь свою строить.

Ей все надо. Туфли на шпильках надо. К толстым ее ногам каблуки-фитильки не идут, иходить трудно, — но надо, терпи, Таиса.

Деньги на туфли мама дала, когда Таиса уезжала из Будогощи.

Прописку надо. Знакомая девочка познакомила с милиционером. Погуляла с ним Таиса, он ее через своего начальника прописал. У своей тети прописал, якобы она, Таиса, тетина племянница, сирота.

Пришлось дать тете двадцать пять рублей.

Но за такое дело ничего не жалко.

Прислала мама из Будогощи двадцать пять рублей.

Жить у тети нельзя, так с самого начала было условлено. Только прописана там Таиса, а живет в другом месте, угол сняла.

Приняли Таису в школу торгового ученичества.

Днем учится торговать, а по вечерам ищет мужа.

Мужа надо Таисе.

Идут они со знакомыми девочками в Летний сад, прохаживаются по аллеям среди статуй с отбитыми и приклеенными носами.

Под вековыми липами сидят ребята, задевают, соревнуются в шуточках. Можно познакомиться. В кино сходить вместе. Потрепаться, кому охота. Мужей здесь нет. Какие это мужья. Друг у дружки сигареты стреляют.

Со знакомыми девочками едет Таиса по громадным мостам на Васильевский, на набережную, где стоят корабли. Майский вечер бесконечный, светлый. Стоят на светлой Неве большие корабли. На кораблях матросы. Девочки ходят взад-вперед по набережной, сцепившись под руки, а матросы им кричат с кораблей и щелкают фотоаппаратами.

Некоторые девочки с ними знакомятся, гуляют.

Ну и дуры. Моряк ребенка сделает и уплывет вокруг света, а ты локти кусай. С мрачноватой усмешкой смотрит Таиса, как они там на палубах принимают красивые позы. Фигуряйте, мальчики. Ей мужа надо. Мужа надо Таисе из Будогощи! Древнее, древнее название Будогощь, древней Москвы, древней, должно быть, Новгорода. 9

Она была самой видной продавщицей в магазине «Галантерея, чулки, трикотаж». Носила яркие свитеры и клипсы, волосы укладывала крупными волнами и подцвечивала хной — эффектная девушка, в толпе не затеряется.

Так как она никогда не смеялась, и смотрела холодно-бдительно, и пышная была не по летам, и способность имела сразу запоминать все цены в рублях и копейках, — начальство считало ее очень деловой и отличало среди других.

С Костей Прокопенко она познакомилась на балу во Дворце культуры имени Кирова. Народу тьма была, жарко, музыка громовая. У Таисы щеки как жар разгорелись. Чем дальше они с Костей танцевали, тем сильней разгорались ее щеки, и сильней она дышала, и сильней от нее пахло духами, будто их пролили на раскаленную печь. И Костя все танцевал с ней, не мог отойти.

Танцуя, она на него анкету составляла: сколько лет ему, сколько зарабатывает, сколько у них квадратных метров в комнате. И нашла, что ничего, подходящего.

Не то чтобы ею двигал только расчет. Никакого особенного расчета и быть не могло. Муж прочный, с мало-мальски приличным заработком и какой-никакой площадью, чтоб база была для построения жизни, — такого она ждала, готовая полюбить. Дурацких фантазий, что принц какой-то необыкновенный явится, у нее не бывало.

И не урод же Костя: очень симпатичный, особенно когда костюм наденет с галстуком. Таиса Костю полюбила.

Стали видеться, и все чаще да чаще. Если он работал в ночную смену, то днем заходил к ней в магазин, иногда по два раза. Если же работал с утра, они проводили вместе томный, бессловесный вечер.

Что рассказать об этих вечерах? У него дома была мать, а она снимала угол в комнате, где кроме нее еще жили две студентки фармацевтического института.

Пройдитесь летним вечером по Ленинграду, посмотрите, как стоят на набережной застывшие пары, прижавшись друг к другу и к парапету и уставившись на речные струи, будто увидели там что-то захватывающее интересное, как блуждают пары между колоннами Казанского собора, как целуются в кино, озаренные светом с экрана, как сидят на Марсовом поле, беспомощно глядя на прохожих, пронзаемые неистовыми токами, когда соприкоснутся их колени или мизинцы обессилевших рук... 10

Белой ночью Костя возвращается, проводив Таису, и у своего дома на пустой улице, где каждый шаг слышен далеко, встречает Женю Логинова, тоже откуда-то вернувшегося.

— Здравствуй, Костя!

— Здорово! — кивает Костя и хочет пройти в ворота, но Женя останавливается и заговаривает:

— Тысячу лет тебя не видел. Что ты, как ты?

Неужели может человек притвориться таким дружески участливым? Или он на самом деле полон сочувственного интереса? С чего бы — после того как вот именно тысячу лет ему безразлично было, что Костя и как?

— Ничего, помаленьку.

— Ты в армии был?

— Угу. А ты небось институт кончаешь?

— Университет. Да, кончаю, вот послезавтра последний экзамен.

Он сказал это вяло, без радости.

— Удружили предки, насоветовали филологический, теперь не знаю, куда себя девать.

— Ну как это, — сказал Костя, питавший уважение к высшему образованию, — куда-нибудь же, наверно, уже распределили?

— Да, но более или менее интересная работа — на периферии, а здесь только учителем, а какой я учитель? — Женя пожал плечом. — В биологи надо было идти.

Костя не спросил — а почему тебе не поехать туда, где работа более интересная. Ясно было, что уж кто-то, а Женя рожден для Ленинграда, для этих улиц и белых ночей. Он стал еще красивей, чем в детстве, прямо на диво был красив с этой грустно-ласковой складочкой у рта, с глазами, задумчиво устремленными вверх.

— А я думаю, из тебя неплохой бы вышел учитель. При твоем развитии.

— Нет, нет. — Женя засмеялся. — Никакой, на практике выяснилось. Мне ребят жалко, а воспитывать скучно, не могу. Не много от меня будет пользы школе.

У Кости к ребятам-школьникам совсем другое было отношение, он присматривал, чтобы они на стоянке, когда он выходит из машины и идет к телефону принимать заказ от диспетчера, не изловчились стянуть его инструменты, и требовал, чтобы они относились к своим поступкам ответственно, как взрослые, сознательные люди.

— Да, — сказал он, — с пацанами трудно. Хулиганья много развелось.

— Пацаны не виноваты, — сказал Женя.

— Ну, это ты мне не говори. Кто хулиганит, тот и виноват. Знает он, что хулиганить нельзя? Знает, будь уверен.

Женя не стал спорить, а сказал:

— В общем, придется все-таки эту лямку тянуть, пока что-нибудь подышется. Ходить в тунеядцах я, разумеется, не буду... Здравствуйте!

Костя посмотрел, с кем это он здоровается, и в открытом окне третьего этажа увидел девушку. Она сидела на подоконнике вся белая — белое платье, белое лицо. Он узнал Майку и спросил, понизив голос:

— Как она без отца?..

— Она с бабушкой живет, — ответил Женя, продолжая смотреть вверх на окно. — Кажется, в десятый класс перешла... Я, впрочем, точно не знаю, сказал он быстро. — Ну, будь здоров, спокойной ночи!

— Пока!

И опять разошлись на тысячу лет. 11

— Ну, мама, — сказал Костя, — что я тебе скажу.

— Да говори уж, — сказала мать.

— Женюсь, мама.

— А то я не знала, — сказала мать.

- Неужели знала, — удивился Костя, — откуда?
- Да уж знала. Кто ж такая?
- Девушка одна. Таиса зовут. В торговой сети работает.
- Хорошо ее знаешь? Давно знаком?
- С апреля месяца. Из Будогощи приехала, училась здесь. Красивая...
- Красивая, — повторила мать. — Ну что ж, ребята все переженились, женись и ты.
- Стесним мы тебя только.
- Как-нибудь, — сказала мать.

Подали в загс заявку, накупили разных вещей в магазине для новобрачных, зарегистрировались во Дворце бракосочетания, справили свадьбу в ресторане «Нева», и Таиса поселилась с мужем и свекровью.

Кончились бесплодные скитания по городу. Сбылись все Костины сны, и даже куда больше чем сбылись.

Правда, в снах это, пожалуй, было лучше. Нежнее, что ли, волшебней. И счастья, пожалуй, давало больше. Зато наяву была бурная гордая сила, какой нет во сне. Была женщина живая, теплая, шепчуящая, силу дающая.

И радостно было и лестно, что она к нему, Косте, стремится, как и он к ней: прия с работы, льнет и целует и готова с ним одним быть весь вечер, никого ей не надо.

— Ох, — говорит, — надоели мне люди. Целый день как муравьи перед глазами. Хорошо дома посидеть.

Правильно, почему же не посидеть дома, как будто обязательно куда-нибудь идти, когда ты вот она и я вот он.

Как-то Косте очень захотелось посмотреть матч с бразильцами, и он уговорил жену пойти к соседям, у которых телевизор. Там было, по обыкновению, много народа, в том числе та девушка, что открывала моды. Под тридцать лет она стала носить коротенькие косички над ушами, завязанные голубыми бантиками. Костя уж и забыл, что когда-то чуть в нее не влюбился; он только на ее косички посмотрел, больно они ему показались чудными, а она на него и вовсе не посмотрела, отвернулась даже, но Таиса приревновала и рассердила.

— Признайся, — говорила она, — у тебя с ней что-то было. Врешь ты, скрываешь. Вы все такие. А телевизор купим свой, нечего по соседям ходить.

Но пока о телевизоре думать не приходилось, так как они сильно потратились на свадьбу и залезли в долги.

Одно в Таисе смущало Костю, прежде смущало и продолжало смущать: что она не смеется? Никогда он не слышал ее смеха. Разве что усмехнется, кривя красивые губы. Но он это объяснял ее серьезностью и тем, что у нее жизнь была тяжелая, она ему это дала понять.

Спустя какое-то время она сказала:

- Я твоей маме не нравлюсь.
- Из чего ты заключаешь? — спросил Костя.

— Ходит надутая.

— Усталая, — поправил Костя. — Она всегда такая. Сердце у нее неважное.

— Угодить нам не старается никакого.

— А чего ей нам угодить. Скорей мы ей угодить должны.

— Нам, молодым жить, — возразила Таиса.

И повторила, скривив губы:

— Скажите пожалуйста, не нравлюсь я ей. 12

Молодой красавец рожден для Ленинграда, он ходит по Ленинграду как по собственной квартире, светлый взгляд его полон привета родному городу, они друг другу идут необыкновенно, Ленинград и красавец.

Разве нельзя понять его родителей, приходивших в ужас при одной мысли об его отъезде на периферию? Где еще он был бы так дома, как здесь?

Он не уехал на периферию.

Он спускается по своей лестнице. Перед тем как выйти на улицу, приостановился в тамбури, закурил.

Поздний вечер, дождь. Пряча сигарету в рукаве плаща, Женя Логинов переходит на другую сторону и останавливается под фонарем. Ночи стали черными, горят фонари.

В освещенном окне третьего этажа явилась женская фигура и исчезла.

Девушка в плаще, в пластиковой косынке спускается по лестнице, где только что прошел Женя.

У девушки дома старая бабушка, а в кармане английский ключ.

Бабушка и спросить ничего не посмеет, девушка ей не позволит.

Она идет к Жене Логинову, стоящему под фонарем. Они уходят, и дождь постукивает по их плащам и по девушкой непромокаемой косынке.

Переходят по мостику через Мойку, выходят к церкви.

Черной массой громоздятся купола.

Канал Грибоедова несет мимо церкви черные воды.

Прохожих нет. Нет сумасшедших гулять под дождем.

— Ты здесь? — спрашивает Женя.

— Я здесь, — отвечает она, закрывая глаза при звуке его голоса.

— Где ты? — спрашивает он. И она с закрытыми глазами подставляет ему свое лицо. Белое лицо в каплях дождя, как в слезах.

Завтра бабушка будет заглядывать в это лицо — девушка ничего не скажет, взглянет темно и вызывающе.

Сейчас бабушка лежит, не спит. Час ночи — не спит. Два часа — не спит. Услышит, как ключ в замке царапается, — вернулась Маечка, тогда сделает вид бабушки, будто спит. И Маечка ляжет и сделает вид, будто спит.

Черные воды, черные купола.

То притихнет дождь, то опять по плащам постукивает.

— Ты здесь?

— Я здесь.

— Где ты?

Эти изломы крыш над старыми домами вдоль канала. Эти окошки под крышами, светящие в мокрую ночь и потухающие одно за другим. 13

Снег, вместо плащей надо зимнюю одежду надевать.

Майка из зимнего пальто выросла, рукава короткие, как ни выпускай их.

Снег растаял, улицы потекли, пять градусов выше нуля — можно, слава богу, надеть плащ, который ей к лицу.

Опять пошел снег, идет, идет, дворники не успевают убирать, машины не успевают вывозить.

Задувает метель в короткие рукава, сечет по белому лицу.

Снег идет, время идет... 14

Таиса сказала:

— Соседки не возражают. Будем на ночь в коридоре ставить раскладушку для мамы.

— Как это? — спросил Костя. — Маму в коридор? Из ее комнаты?

— Такая же ее, как наша, — возразила Таиса. — И никто у нее не отнимает, только ночевать будет в коридоре, в чем дело? Она и сама не возражает, разбирается лучше тебя. Если бы ты более был чуткий, сам бы сообразил давно.

Мать не возражала. Отводя глаза, она соглашалась спать в коридоре.

— Мне там очень хорошо будет, — сказала даже.

Они купили раскладушку, и на ночь мать ее пристраивала между их дверью и соседской, а утром убирала.

Она вышла на пенсию. Последние годы она работала не вагоновожатой, а табельщицей, пенсия получилась небольшая. Таиса сказала:

— Теперь мы ее, значит, содержи.

— Что значит содержи, — сказал Костя, — что мое, то материно.

— Очень ты высокооплачиваемый — столько иждивенцев содержать. Забыл, что скоро еще иждивенчик прибудет?

Таиса была беременна. Это только что обнаружилось, но она то и дело об этом напоминала и

говорила:

— Ты со мной обязан быть чутким. Я не одна теперь, двое нас: я и ребенок.

И Костю это трогало, хоть он и обижался на Таису за мать и ему надоедали напоминания о чуткости.

Что-то заскучал он — сидеть вдвоем и слушать, что она говорит.

Прежде час, проведенный с ней, таким казался коротким: как спичкой чирк — и нет. А сейчас часы тянутся — почему бы?

Она говорит, как они обменяют комнату, как купят чешский гарнитур и телевизор, или критикует своих сослуживцев, а Косте хочется порассуждать об общегосударственных вопросах, которыми очень интересуются шоферы такси.

Он обрадовался, когда она сказала:

— Надо тебе в вечернюю школу. Так и будешь, что ли, всю жизнь шоферюгой?

Он принялся готовиться — повторять учебники и решать задачки, так как все почти перезабыл, что учил когда-то, и его время стало более содержательным и целеустремленным. 15

Что случилось с психикой предков Жени Логинова? Женина мама, научный работник, сказала кому-то:

— Я простить себе и мужу не могу, что из эгоистического желания не расставаться с единственным сыном удержали его в Ленинграде. Наиболее жизнедеятельная молодежь устремляется на окраины страны, а он, бедняжка, тоскует здесь на учительской должности, не чувствуя к ней призыва.

Женин пapa, научный работник, жалуется на маму:

— Недомыслие чудовищное, стала парню поперек дороги, любовь называется! На окраине он бы настоящее применение себе нашел, а здесь таких Женек с университетским образованием полон Невский.

Эти сдвиги в сознании произошли весной.

Через два месяца в школах начнутся экзамены, а там каникулы, но предки даже конца учебного года дождаться не хотят, нервничают и настаивают, чтобы Женя исправил их ошибку немедленно.

— Я ночью просыпаюсь и не в состоянии уснуть, пока ты здесь, говорит мама.

Она не в состоянии уснуть потому, что этажом ниже сидит девушка и пишет Жене безумные письма, что она без него не будет жить.

Девушка с темным, опасным взглядом, без родителей, без братьев и сестер, удержать ее некому. Если она что-нибудь над собой сделает — а с нее станется, — это будет ужасно. Тем более что она школьница, а Женя учитель. И хотя он не ее учитель, другая школа, другой район, но это ЧП, Чрезвычайное Происшествие, вмешательство двух школ и двух района, комиссии, разбирательство, огласка на весь Ленинград, и в Москве узнают знакомые и родственники, возможно — о трижды ужас! — фельетон в газете, в фельетоне она будет не названа или названа инициалами, а Женя полным именем, и люди будут стоять кучками и читать, и пapa с мамой будут упомянуты, научные работники, и никто не примет во внимание

его восприимчивую, поэтическую душу, щедро дарящую из своих прекрасных запасов нежности, никто не вспомнит, что молодость имеет право на увлечение, никто не подумает о нем, живом, если она будет лежать мертвая!

— Пусть этот удар упадет на нас, — говорит мама, — но по крайней мере пусть Жени при этом не будет, для мальчика это слишком большая травма. Да она, я думаю, успокоится, если он исчезнет с ее горизонта.

— Ты должна пойти к ней! — говорит папа. — Ты обязана пойти и объяснить, что у нее все впереди и что это в конце концов ненормально!

Но мама слишком горда и интеллигентна, чтобы идти объясняться со школьницей, влюбленной в ее сына. Влезать в его интимную жизнь... Сколько их было, этих школьниц, студенток, бегавших за ним... А главное — маме в глубине души страшно говорить с девушкой, которая вдруг после этого разговора будет лежать мертвая.

— Женя, уезжай, я тебя умоляю!

Пока он здесь, он не смеет не уступать безумным письмам — плется на свидания, и бродит с нею, и говорит вялым голосом. Нельзя же целоваться, детка, когда на улице светло как днем. Я тебя люблю, но кроме любви в жизни человека есть то-то и то-то. Голова болит, каждый вечер болит голова. Как ты можешь учиться, когда не высыпаешься систематически.

А она отвечает, что нет, он разлюбил, она отдает себе отчет во всем и рада бы задушить свою любовь, но не может, не может. И так уж мы устроены, что, даже отдавая себе отчет во всем, она на него смотрит с надеждой и ждет — вдруг это не конец, вдруг свершится чудо. Когда он рядом, ей начинает казаться, что чудо возможно. Вот почему так отчаянно она его зовет на свидания: чтобы хоть на миг вернуть себе надежду.

И подумать, что это весна, на Невском продают пучочки синих и белых цветов, пахнущих талым снегом, — а она вспоминает холодные черные ночи, дожди и метели, как райский свой сад, полный блаженства.

Но довольно! Пора кончать. В одно прекрасное утро к дому подкатывает такси. Лучший час, чтобы исчезнуть с горизонта, — она в школе. Женя сходит по лестнице с чемоданом. Хлопают дверцы, машина запела, ушла.

Прощай, серый дом! Прощай, Ленинград! Надолго ли? Кто знает! Прощай, полночных стран краса и диво, любовь моя — Ленинград!

На вокзале Женю провожает молодая балерина. Он с ней познакомился минувшей зимой. Это ярко восходящая звезда, некоторые на нее оглядываются, и Женя говорит счастливо:

— Тебя узнают!

Они тоже то и дело оглядываются, Женя давно все рассказал балерине, пожимая плечом и жалея Майку, и ругая себя, и они боятся, как бы Майка не приехала на вокзал. Но Майка сидит на уроке.

Без всяких помех Женя целует ладошку балерины, отвернув перчатку, и она еще раз обещает известить его, где она будет отдыхать этим летом, и поезд благополучно трогается, увозя Женю в Москву, откуда он намерен ехать в Новосибирск, а затем куда-нибудь, может быть, еще — там видно будет. 16

Все хуже обращалась Таиса с Костиной матерью.

Поест, что мать наготовила, и говорит:

— Какой-то вы дрянью нас обкормили. Старый человек, а готовить не умеете.

Костя скажет, повысив голос, — ну, нечего замечания делать, готовь сама, когда так. Мать начнет оправдываться, что никакой не дрянью, продукты свежие и мясо парное, — Таиса оборвет:

— Ну хватит. Разворчались. Я в моем положении целый день работала, мне поспать надо.

И они затихнут. Он уткнется в книгу или в газету, а мать в кухню уйдет и там возится или так сидит.

Костя пробовал говорить с женой по-хорошему:

— Ну зачем ты так? Ну некрасиво же. С кем хочешь некрасиво, а тем более с матерью. Она же мать моя. Мне неприятно. Я тебя меньше буду любить и уважать.

Но Таиса начинала всхлипывать и отвечала:

— Ты мою нервную систему не щадишь. В консультации сказали, что мне нельзя волноваться. 17

Майка в тот же день узнала, что Женя уехал, но пережила это тихо, никто не видел даже слез ее. На другое утро, как всегда, пошла в школу и ходила довольно много дней, и в сумочке у нее лежали тетради, учебники и вечка.

А потом возле серого дома остановилась машина скорой помощи. Выскочили санитары в белых халатах поверх пальто и побежали наверх, и оттуда на носилках вынесли Майку и повезли в Куйбышевскую больницу.

Конечно, серый дом гудит об этом происшествии, а как же иначе? Жила у нас девочка на третьем этаже, мы ее крохой помним, и вот она перерезала себе вены — как не гудеть дому?

Нехорошие вещи говорят о Логиновых, почему-то не столько о самом Жене, сколько о папе и маме, о маме особенно. Не соверши Майка свой жуткий поступок, не заяви она так отчетливо и окончательно, что плевать ей на все и идите вы со своими суждениями, — досталось бы и Майке, будьте уверены, но перед этим поступком дом отступил, не хочет судить ту, что повисла над могилой на ниточке, за чью угасающую жизнь борются в Куйбышевской больнице.

Даже в семействе Прокопенко, где атмосфера накалена собственными неприятностями, в тот вечер говорят главным образом о Майке. Костя почему-то поражен, и почему-то не верится ему, что у Майки была любовь с Женей:

— Да ну, не может быть!

— Было, — вздыхает мать.

— Да ну, она же маленькая!

— Хороша маленькая, дылда такая, школу кончала.

Это говорит Таиса.

— Еще не кончала, — спорит Костя. — Она в десятом классе была.

Сегодня о Майке — в прошедшем времени: кончала, была.

— Тебе откуда известно? — спрашивает Таиса.

— Женька сказал как-то.

— Все вы таковские, — говорит Таиса, подозрительно глядя на мужа.

Уже все обсуждено и осуждено, когда новое сообщение: Майкину бабушку разбил паралич! Вся правая сторона отнялась, и языком не владеет.

— Довели старуху.

— Довели. Обеспечили спокойную старость.

— Всё Логиновы!

— Логиновы!!

Опять гудит дом. И только один человек в нем не знает ничего — Женин дедушка-профессор.

Он до вечера писал мемуары в своем кабинете. Потом послушал по радио последние известия. В них не говорилось о Майке и ее бабушке, и дедушка вышел к чаю спокойный и благодушный.

— Что слышно о Жене? — спросил он, садясь на свое место между Жениными папой и мамой. — Он еще в Москве?

— Я говорила с ним по телефону, — ответила заплаканная и запудренная мама, подавая дедушке его чашку. — Просил передать вам привет. Завтра уезжает в Новосибирск.

— Очень хорошо, — проворковал дедушка. И принялся излагать известия, услышанные по радио. Его не посвящали в домашние дела. Он думал, что внук отправился искать свою дорогу, и хвалил его, говоря:

— Пора, пора доброму молодцу помериться силами с жизнью.

На другой день он вышел прогуляться. Неизвестно, кто его просветил, но он вернулся больной и желтый. Посмотрел на маму, отворившую ему, и сказал слабым голосом:

— Вы подонки.

Мама пошла за ним и, ломая руки, стала говорить о Жениной восприимчивой душе и о праве молодости на увлечение. Но дедушка стоял на пороге своей комнаты и держался желтой худой рукой за дверь, показывая, что желает затвориться и быть в одиночестве. Мама плача воскликнула:

— Почему вы не хотите даже выслушать?

— Потому что вы все мне омерзительны, — сказал дедушка. 18

Майку спасли, и она вернулась из больницы.

Ничего не произошло, чего страшились Женины мама и папа, — ни фельетона, ни широкой огласки. Поволновались Майкина школа и Майкино районо, пошевелилась милиция, но так как Майка отказалась объяснить, по какой причине она посягнула на свою жизнь, и так как подошли экзамены, то школа и район переключили внимание на другие события, а милиция и подавно.

Логиновы отделались недолгим гуденьем в доме. Так что мама даже сказала папе, что она боится, как бы Женя там от скуки не приучился пить, и что зря они его услали куда-то в

Кости не было дома, а к Таисе пришла та девочка, что когда-то познакомила ее с милиционером. Они шептались, и вдруг Таиса сказала:

— А вам, мама, не надоело отсвечивать? Не имеете тактичности выйти из комнаты, где людям надо между собой поговорить.

Мать даже задрожала от оскорбления и гнева, так бы и хлопнула по гладкому наглому лицу, так бы и крикнула: сама убирайся отсюда! Но ведь Костина жена, но — ребенка ждет, но — не привыкла мать скандалить, совестно. Ушла в кухню и расплакалась. И не выдержала — пожаловалась соседке. Соседка пожаловалась Косте. Костя на Таису закричал страшным голосом. Таиса выскочила в коридор и тоже закричала:

— Товарищи, помоги, старая ведьма портит нашу семейную жизнь, она Косте на меня наговорила, она его бить меня учит, заступитесь за женщину в положении!

Небывалая в квартире вышла сцена, казалось бы — как после того жить им вместе? Но поди ж ты — живут.

Уже все зная про Таису, ест с ней Костя за одним столом, спит в одной постели, и ждут они от их союза ребенка.

И мать тут, — а куда ей деваться?

Купили телевизор и смотрят совместно.

Но друг на друга Костя и мать не смотрят.

Ему стыдно и мучительно, и что делать — не знает.

И матери мучительно и стыдно за него, и не может ему помочь.

Одна Таиса говорит, за что-то выговаривает, на что-то жалуется, кого-то критикует, а Костя ей ответит изредка, когда уж нельзя не ответить, а то молчит. А матери и дыхания не слышно.

Таиса уйдет — и вдвоем они молчат или говорят о постороннем.

Костя уйдет, Таиса останется — это уж вовсе ложись да помирай: сплошная ядовитая злоба, словно одно только у нее на уме — как еще побольней укусить свекровь. Словно поселилось в доме кусачее злое животное и нет от него спасения.

Даже когда они оба уходят, Таиса и Костя, мать не чувствует себя, как бывало, хозяйствой, не может ходить вольно из комнаты в кухню и из кухни в комнату, никого не боясь. В кухне и коридоре соседи, одни держат сторону Таисы, другие жалеют мать, расспрашивают, советуют, ругают Костю, что допустил такое, — все это матери невыносимо.

И стала сама уходить: переделает что от нее требуется, уйдет в скверик и сидит там до того часа, когда уже можно приладить в коридоре раскладушку и лечь.

Дети играют на песке, она думает: будет у Кости сыночек или дочечка, мой внучек или внучечка, я нянчить буду, общая будет у нас любовь, общая забота, — может, смягчится Таиса.

Но тут же подумает: нет, еще хуже будет, не угодишь тогда ничем ей, живьем съест.

И так душно, так безнадежно станет на сердце у матери, и сидит она вся понурая среди играющих детишек и цветущих цветов. 20

Легче всего Косте было на работе: все правильно — тебе нужно ехать по твоему делу, а я тебя везу, это мое дело, и мне до лампочки, что кто-то назовет неуважительно и грубо — шоферюгой.

Пассажир, конечно, разный, попадется такой склочник, что не дай бог, бывает, что и пьяный ввалится в машину и потом с ним возись, и в гараже мало ли какие случались споры и неприятности, но так или иначе за баракой Костя чувствовал себя человеком. А дома, сидя на новом чешском стуле перед новым телевизором, он не чувствовал себя человеком.

Он думал о том, что это дурное, скандальное, длинное лето пройдет, и наступит осень, и осенью он начнет посещать вечернюю школу. Она займет много времени, если заниматься как следует (а уж он постарается заниматься как следует); меньше придется быть дома и думать о доме, что так тяжело и делает его старым, и прививает ему дрянные черты, каких у него не было, трусость, например, покорность, например.

Вроде все было сделано по-хорошему, думал он, без аморальности, с установкой на крепкую семью, во Дворце культуры познакомились, во Дворце бракосочетания регистрировались, сплошные дворцы, и даже у нее фата была, а жизни нет.

Как я мог на ней жениться, думал он, когда она сидела с ним перед телевизором на другом чешском стуле и рядом был профиль ее всегда раздраженного лица с большой щекой и висячей серьгой в ухе. Главное, вечно это выражение, будто ей чего-то недодали и норовят еще недодать, но ведь это выражение и раньше было, оно всегда было, как же я не замечал?! Он слышал ее сопенье, а потом она открывала рот и что-нибудь говорила, и при этом у нее жабы сыпались изо рта, как в какой-то сказке, которую он читал в детстве.

Она грузно вставала и вытесняла своей расплывшейся фигурой эти бунтарские мысли, и он опять и опять сознавал, что прикован к ней цепью крепче всяких регистраций во всяких дворцах.

В школу, думал, в школу! Далеко идущие планы рисовали ему, что он кончает вечернюю школу и заочный институт и становится, ну, скажем, геологом (геология его не привлекала, но это уже другой вопрос), и круглый год проводит в командировках где-то у черта на куличках, а Таиса сердится и ревнует, но не препятствует, потому что ему платят большие командировочные.

Форменным каким-то мечтателем стал.

А почему, собственно, мечтателем? Другие кончают же и школы, и институты. Чем он хуже? Геологами становятся, учителями, кем хочешь.

Долговато этого добиваться. Трудновато — особенно работая и имея семью.

Он добьется тем не менее.

На пятерки не потянет, но на тройки и четверки — вполне.

Будет ли Майка учиться после всех событий?

Костя спросил у матери:

— Что там о Майке слышно?

— С бабкой мучается.

— Болеет бабка?

— Да поднялась, но плоха. Как малое дитя. Ничего не понимает, всего требует. То лимончика к чаю, то курочку, то конфет ей каких-то. Ну, Майка старается: сама не поест, а старухе несет.

— Бедная Майка, — сказал Костя.

И в тот же день, надо же, встретил Майку на своей лестнице. На груди у нее была почтальонская сумка, а в руках кипа газет. Она остановилась у соседней двери и стала рассовывать газеты по ящикам. Ничего в ней такого не замечалось, чтоб сказать — вот эта однажды не захотела жить и перерезала себе вены. Только платье на ней было с длинными рукавами, несмотря на жаркий день.

— Здравствуй, Майка! — сказал Костя, почему-то обрадовавшись. — Что, почтальоном заделалась?

— Да, — ответила она.

— И сколько платят?

— Пятьдесят пять рублей.

— Ну что ж, — сказал он, — тоже деньги.

Она не ответила и побежала наверх. А он себя ругнул, что не так поговорил с ней: теплоты не выразил, и, наверно, ее обидел его глупо-шутливый тон, когда он сказал — тоже деньги. И опять-таки глупым кривляньем было некультурное слово «заделалась», когда он знает отлично, что надо говорить «сделалась». 21

В скверике, где как беспризорная сиживала мать, каждый вечер гулял чистенький пожилой гражданин с чистенькой собачкой на цепочке.

Собачка бегала, увлекая его за собой,нюхала землю и поднимала ножку, и он ее уговаривал:

— Тузишко, Тузишко, на цветы нельзя!

Уморившись, садился на скамейку и вытирали полное лицо и шею чистым платком, а собачка сидела у его ног и весело дышала, высунув язык.

Мать так привыкла видеть их в скверике, что если они появлялись позже обычного, она их искала глазами, а увидев, говорила себе: а, вот они!

И пожилой гражданин, видя ее всегда на том же месте, стал с ней здороваться очень вежливо. А однажды подошел и, держась левой рукой за собачкину цепочку, а правой приподняв над лысиной чистенькую кепку, отрекомендовался:

— Разрешите представиться, персональный пенсионер такой-то.

Мать ответила, смущившись:

— Очень приятно.

Он спросил:

— Вы позволите присесть?

Она ответила:

— Пожалуйста.

Он поклонился и шаркнул ногой и только после этого присел на приличном расстоянии.

— Извините, гражданка, — сказал он, — но я замечаю, что у вас какое-то несчастье, не могли я как-нибудь помочь в ваших обстоятельствах?

— Ах, — вздохнула мать, — никто мне, товарищ, не поможет в моих обстоятельствах.

— Конечно, — сказал пожилой гражданин, — если речь идет о потере дорогого человека, то эту рану в состоянии исцелить лишь время, я на себе испытал. Но от всего прочего существуют лекарства, из них самое лучшее помочь коллектива.

— Не со всякой бедой пойдешь к коллективу, — возразила мать. — С иной бедой идти — только срамиться, а пользы не будет. Да у меня и коллектива нет: я пенсионерка.

— Помилуйте! — воскликнул пожилой гражданин. — Вы что же, считаете, что, уйдя на пенсию, мы выпали из коллектива? А жилтоварищество с его народонаселением, зачастую равным населению среднего западноевропейского города, с его домовым комитетом, с его товарищескими судами и художественной самодеятельностью, — разве это не превосходный коллектив?! Гражданка, поверьте, ваша беда в том, что вы себя вообразили оторванной от коллектива!

Мать понимала, что никакой товарищеский суд не вразумит Таису, а только ушаты оскорблений и клеветы выльются публично на нее — на мать, изгнанную из дома, а художественная самодеятельность тут и вовсе ни при чем, но все же упоминание о существовании всего этого было отрадно, оно расширяло ее мир, чересчур в последнее время ограниченный. А еще приятней было, что сидит рядом симпатичный, высококультурный человек и хочет прийти ей на помощь.

— Кстати, — сказал он, — я бы не подумал, что вы на пенсии, вы смотрите моложаво, если бы не следы глубокой удрученности...

И он сострадательно взглянул на ее бледное лицо с запавшими щеками.

— Где там молодо, — сказала мать, — живу и думаю: умереть бы, что ли...

Она заплакала и в слезах рассказала свое горе. Пожилой гражданин слушал со вниманием, опустив подбородок на грудь. Когда же она закончила свой рассказ, он сказал:

— Все это грустно и печально, как все родимые пятна капитализма, и мы еще вернемся к этому разговору, а пока, гражданка, — разрешите ваше имя-отчество?.. — пока не пройтись ли нам с вами, что ж все сидеть, моцион улучшает кровообращение.

Они вышли из скверика и пошли по улице. Тузишко бежала впереди, мелко перебирая ножками, и на сердце у матери отлегло капельку. А на другой вечер пожилой гражданин пришел без Тузишки и принес два билета в кино, они сидели на хороших местах, и он угостил мать пломбиром в стаканчике. 22

Заказное письмо принесла Майка в квартиру, где жил Костя. Сосед расписывался в получении, и в это время Костя проходил по коридору и сказал:

— Здравствуй, Майка.

Таиса услышала. С искривленным лицом — Костя не сообразил остановить ее — вышла за Майкой и сказала громко:

— Ты за одним бегала, дрянь, не вышло твоё дело, теперь за мужа моего взялась, чтоб я тебя на нашей лестнице не видела, а то я на тебя в школу заявлю!

Костя выскочил на площадку. Майка стояла с почтальонской сумкой на груди, обернувшись к Тaise. Она не сразу поняла, зачем ее остановила эта женщина, чего от нее хочет. Но вдруг кровь хлынула в белое лицо, Майка рванулась и побежала вниз.

— Майка, — крикнул Костя, — Майка, подожди! — и бросился за ней. Она мчалась, едва касаясь ступенек, ситцевая юбка взметывалась на поворотах. Только внизу он ее догнал, у выхода.

— Майка, постой. Слушай, ты не придавай значения. Она ребенка ждет, ты же видишь. Ну и говорит, что придет в голову, ерунду всяющую. Не придавай значения. Успокойся.

Слезы у нее так и лились и капали на почтальонскую сумку. Потому, должно быть, и остановилась здесь у выхода в темноватом закутке, не побежала дальше во двор, где люди.

— Ну-ну. Хватит, слушай. Ну, Майка, ей-богу. Мало кто чего вякнет.

У нее сквозь сжатые губы вырвался стон, и прямо ударил его этот стон — чего б не дал, кажется, чтоб она так не стонала.

— Наплюй, и все. Нашла на что обращать внимание. Ну Майка, Майка. Ты ж молодчина.

Ну хотя бы снять с нее эту сумку и самому всё разнести, а она чтоб посидела тихо дома и выплакала до конца обиду.

— Я помню, какой ты боевой девчонкой маленькая была, совсем маленькая. Мальчишок вдвое старше не боялась, войну нам объявляла.

Она ведь и сейчас была маленькая, хоть и выше него. Хотелось погладить ее по голове. Но не посмел. Особенно после того, что наговорила злобная дура.

— Жутко была смешная, так, бывало, и смотришь, как бы нам насолить.

Она продолжала плакать, но обратила на него свои темно-карие глаза, и в них появилось наивно-внимательное выражение, словно своим напоминанием он возвращал ее к детству, и что-то затеплилось в ней от той девчонки. У него от этого выражения задрожало сердце, и он обрадовался, что нашел-таки, что сказать ей человеческого, что она смотрит на него. И заторопился по найденной дорожке:

— Жутко смешная. Закутает тебя бабушка в платки, как матрешку. Мы проходим по лестнице, а ты ляжешь и лежишь, как будто мы тебя сбили. Чтоб потом бабушке на нас наябедничать. Жутко вредная. А мы тебя и не трогали даже.

Она смотрела все доверчивей, и он торопился, стараясь, чтоб голос не дрогнул:

— А то сидим на лавочке в скверике, а ты придешь и песок нам в глаза... Не помнишь? Ну как же! Станешь с полным совком и стоишь, а ветер нам прямо в глаза... Мы тебе сделаем замечание, а бабушка нас хулиганами обзовет, тем дело и кончится... И папу твоего я хорошо знал, мы его очень уважали, не знаю, правда или нет, но у нас было мнение, что он в танке горел... Надо же, в танке горел, вроде легко выговаривается, а пережить это... Он, бывало, придет, а ты ему навстречу бежишь и спрашиваешь: «Что ты мне принес?»

Майка перестала плакать и слушала, как слушают интересное разумные, серьезные дети. Но он уже иссяк и не мог придумать, что же еще сказать ей. Она вытерла лицо, детское выражение исчезло, чуть улыбнулась ему губами, опухшими от плача, и, не сказав ни слова, ушла по двору, залитому звонким асфальтом и солнцем. 23

Пожилой гражданин сделал матери предложение! Они гуляли вместе, и он ей рассказывал

содержание газет, которые он читал в большом количестве, о неграх в Америке и неграх в Африке, и кто убил Кеннеди, и о полетах в космос, и несколько раз он ее водил в кино, а один раз даже в цирк, куда она надела свою выходную вязаную кофточку и прозрачный шарфик. Она стеснялась, что он не соглашается брать ее долю за билеты, она привыкла платить за себя сама, но он говорил:

— Даме платить не полагается.

А по дороге из цирка, где были дрессированные львы, акробаты, лошади, и женщины плавали в воде как рыбы, и мотоциклист ездил по стенке вверх колесами, вниз головой, — по дороге из цирка он почтительно, но энергичным голосом сделал ей предложение выйти за него замуж: не как-нибудь, а зарегистрировавшись в загсе и поселившись с ним, как полагается супруге.

— Да ну что вы, — смеясь, сказала мать, когда разобрала, о чем он говорит, — что вы, на самом деле.

Но он сказал:

— Мы еще вернемся к этому разговору.

Разговор возобновился на скамейке в скверике. Тузишко сидела у их ног и радостно дышала, высунув язык.

— Сейчас, — говорил пожилой гражданин, — у меня условия довольно неважные: комната в коммунальной квартире, весьма запущенной. Но поскольку жилищный вопрос Неизмеримо улучшился, мои личные перспективы тоже оптимистические.

Мать смеялась, что он говорит о перспективах, как молодой, но это ей нравилось. Легкий, думала, человек, не стал бы ворчать, бубнить как дурак: бу-бу-бу.

— Наш дом, — с удовольствием слушала она дальше, — ставят на капитальный ремонт, а жильцов расселяют. Мне, как персональному пенсионеру, обещали отдельную однокомнатную квартиру в районе парка Победы.

— Отсюда далеко, — сказала мать.

— Но какое сообщение! — воскликнул пожилой гражданин. — Вы садитесь в метро, и через пятнадцать минут вы в центре!

Может, подумала мать, оно и неплохо, что далеко. Может, мне и не захочется садиться в метро и ехать, чтоб повидать их. Вот не захочу и не поеду, пусть как хотят себе. Ах, что я, а внучек-то или внучечка, общая любовь! Ах, о чем я, глупая, рассуждаю, куда в мои годы замуж!

— На Московском проспекте, — продолжал пожилой гражданин, — все магазины, какие угодно. От мебельного до пирожковой. Хотя лично я, грешник, люблю пирожок домашний с пылу с жару к утреннему кофейку.

Да, это неплохо, подумала мать, к кофейку горячий пирожок с капустой. Или с яичком и зеленым луком.

— Не каждый день, конечно, — сказал пожилой гражданин. — Если нет настроения или, скажем, недомогание, поясница болит, — мы с Тузишкой сходим купим в пирожковой. Горячие пышки тоже очень хорошо, и возни меньше.

Начинался дождь, скверик опустел, а они сидели, не уходили.

— Вам плохо, — говорил пожилой гражданин, — и мне одному плохо. И что ни говорите — старость приближается. Разве не логично объединить два неустроенных существования в одно устроенное и годы заката озарить светом?

Замечательно говорил, очень умный человек и с душой, даже о пояснице ее позаботился заранее. Мать, слушая, то смеялась, качая головой, то вздыхала, то утирала слезинку, но решиться не могла никак.

— Я подумаю, — отвечала она. 24

Таиса сказала:

— Когда я рожу, надо выписать мою маму из Будогощи.

— Что ж, — сказал Костя, — пусть приедет погостит.

— Не погостит, а кто с ребенком будет, ты думал?

— Как кто? Моя мама будет.

— Никому, — сказала Таиса, — я не доверю ребенка, кроме моей мамы. Твоя и не интересуется нами, чтоб ты знал. Каждый вечер уходить повадилась.

Костя отвел взрывчатую тему.

— С пропиской, — сказал он, — трудно.

— С пропиской уладится. Ты только ее предупреди, чтоб не возражала.

Мать пришла намокшая под дождем, с розовыми пятнышками на скулах.

— Мама, — спросил Костя, — ты не будешь возражать, если мы выпишем Таину маму из Будогощи ходить за ребенком?

Стоя у порога, мать развязывала мокрый платок, и Костя на нее смотрел тревожно, боясь, что она что-нибудь скажет против и опять разразится безобразный, постыдный скандал.

— Так, — сказала мать. — Ну, выписывайте.

— Прописать надо, — пробурчала Таиса.

— Прописать надо, — сказал Костя, довольный, что все обходится мирно.

— Выписывайте, прописывайте, — сказала мать, тихо задыхаясь, — меня здесь не будет, я замуж выхожу. — И пошла в кухню повесить платок на веревку.

— Что она сказала? — спросил Костя.

— Черт те что, — сказала Таиса, вытаращив глаза. — Замуж, говорит, выходит.

— Ну да.

— Сказала: замуж.

Костя взял сигареты и закурил, чтоб освоить новость, и услышал хихиканье. Таиса хихикала, прикрыв рот пухлой рукой с наманикюренными ногтями.

— Перестань, — попросил Костя.

Она прыснула и закатилась смехом, первый раз он услышал, как она смеется:

— Га-га-га-га!

А он вдруг света не взвидел от ненависти. Схватил эту руку выше кисти и бешено сдавил:

— Замолчи, Будогощь!

Но сейчас же: что я делаю!.. Брезгливо оттолкнул ее, так что она села на кровать, и вышел из квартиры быстрым шагом. 25

Таврический сад засыпан коричневыми и желтыми листьями: осень пришла.

В ясный воскресный день молодые отцы катят по саду коляски с младенцами. Шины шуршат по листьям. Младенцы спят на воздухе, как загипнотизированные. Встречаясь, молодые отцы обмениваются взглядами не без юмора.

Одни отцы с непокрытыми головами, другие в кепках или беретах; все, кроме Кости Прокопенко, счастливые.

Как же произошло все-таки, думает Костя, катя коляску, что я, неплохой вроде парень, во всяком случае не подлец, здоровый, с хорошей профессией, любящий порядок и справедливость, позволил родную мать выставить из дома — да, выставить, да, позволил, хоть она это и называет другими словами, моя бедная.

Как происходит, что они хотят тебя сделать скотом и ты становишься скотом, совершенно того не желая и чувствуя к скотству отвращение?

Они — это Таиса и ее мама, которая благополучно у них поселилась и состоит при Таисе как бы премьер-министром при монархе.

Почему я никого не могу защитить от них? Почему моя защита бессильна? Что ни скажу я, что ни скажут другие, все отскакивает от этой брони наглости, хамства и вранья.

И тебя защитить не смогу, думает он, глядя на розовое зажмуренное лицико под пологом коляски. Будут тебя уродовать по своей выкройке, как захотят.

А если мы с тобой объявление дадим? Он с удовольствием представляет себе страницу «Вечернего Ленинграда»: такой-то, проживающий там-то, возбуждает дело о разводе с такой-то, проживающей там же. Но представляя, знает, что это не выход — ребенка оставят Таисе, а у него окончательно отнимется возможность хоть как-то влиять на воспитание дочки.

Сбежим давай! Подрастешь — сядем с тобой рядышком в кабину и укатим в дальний рейс. Такой дальний, такой дальний, что никто нас и не найдет.

И он думает о длинных широких дорогах, разбегающихся по необъятной стране, о не виданных им местах, о науке геологии, к которой у него, увы, нет склонности и до которой если добираться, то надо потратить годы и годы — как, впрочем, и на любую другую науку, он это осознал с жестокой ясностью, начав заниматься в вечерней школе.

О многом думает Костя, катя коляску по Таврическому саду.

О том, кого надо любить, а кого не надо.

С кем надо детей заводить, а с кем не надо.

И как любить.

И как жить.

Что вообще хорошо, а что плохо.

И как плохое отличать от хорошего.

Очень досадно ему, что он раньше думал об этих вещах так мало и невнимательно.

Но кто это идет навстречу, кивая головой?

Его мать, приехавшая погулять с сыном и внучкой в Таврическом саду. С ней ее муж, и Тузишка бежит впереди.

— Ну как, ну что? — спрашивает мать. — Животик как? Ну слава богу.

Она берется за коляску, и с этого мгновения все перестает для нее существовать, кроме розового личика с круглой соской в губках. Костя и его отчим идут рядом, разговаривая о делах союзного и международного значения.

Потом настает время старикам ехать к себе на Московский проспект, а Косте катить коляску домой.

Неподалеку от своего дома он встречает девушку, открывающую моды. Она в итальянском плащике, волосы у нее подстриженные и гладкие и лоб открыт наверно, так модно в данный момент. Она взглядывает на коляску и говорит с кроткой укоризной:

— Здравствуйте, Костя.

Может быть, он увидит и Майку, разносящую газеты и письма. Майка учится в одиннадцатом классе, но продолжает работать на почте — по вечерам и в выходные — на курочку, на лимончик к чаю и прочее, чего там спросит бабушка.

Майка пробегает, не глядя на Костя, ей, конечно, тошно вспомнить ту историю с его женой, и что он ей? Она пробегает, а он перекатывает коляску через порог калитки, и темный туннель ворот смыкается над ним.

1965

Комментарий

Впервые — Лит. Россия, 1965, 4, 12 марта; Сестры. Рассказы. М., 1965.

Вспоминая о поводе создания «Конспекта романа», Панова писала: «Литературная Россия» просила меня написать для нее что-нибудь небольшое, по ее территориальным возможностям. Я подумала: «Напишу-ка ей роман в форме конспекта. Нужен был прежде всего сюжет. Я бросилась к уличному фольклору» (О моей жизни... С. 259). К уличному фольклору восходит история матери главного героя повести Кости Прокопенко, которая терпит притеснения от своей невестки Таисьи, а затем уходит от молодых, приняв неожиданное предложение руки и сердца от знакомого пенсионера. Сходный мотив, решенный в комедийном ключе, использован в пьесе Пановой «Свадьба как свадьба». «Я ввела эту историю в мой «Конспект романа», — подтверждает Панова, — далее использовала в пьесе, которую недавно закончила. И тут, и там я рядом с этой историей о стариках написала ряд историй о молодых» (

Панова В. О моей жизни... С. 260).